

The background of the page is a painting of a library interior. A man with a beard, wearing a blue coat, is seated on a red cushioned bench, reading a book. The room features tall wooden bookshelves filled with books, a wooden floor, and a large window in the background. A large oval sign is superimposed on the upper part of the painting.

Анатолий
ФРАНС

Анатоль Франс

Кренкебель

Могущество правосудия полной мерой выражается в каждом приговоре, который от имени державного народа оглашает судья. Жером Кренкебель, зеленщик, познал власть и силу закона, когда его за оскорбление представителя властей препроводили в исправительную полицию. Заняв место на скамье подсудимых в мрачном и великолепном зале, он увидел судей, секретарей суда, адвокатов, облаченных в мантии, судебного пристава с цепью на шее, жандармов и, за перегородкой, обнаженные головы молчаливых зрителей. Он увидел, что его собственное место находилось на возвышении, как будто предстать перед судом было для самого обвиняемого некоей мрачной почестью. В глубине зала между двумя членами суда восседал господин Буриш, председатель. На груди у него были прикреплены пальмовые веточки – академический значок. Бюст Республики и распятый Христос вздымались над судилищем, и в их лице над головой Кренкебелия нависали все законы божеские и человеческие. Все это внушило ему истинный ужас. Вовсе не обладая философическим умом, он не задавал себе вопроса, что значат этот бюст и это распятие, и не старался выяснить, согласны ли между собой в зале суда Иисус и Марианна! А это могло бы стать предметом размышлений, поскольку учение о папской власти и каноническое право во многом противоречат Конституции Республики и Гражданскому кодексу. Папские декретаии, как известно, не отменены. Церковь Христова, как и прежде, учит, что законна только та власть, которой она пожаловала право быть властью. А Французская Республика пока не собирается признавать власть папы. Кренкебель мог бы сказать с некоторым основанием:

– Господа судьи, так как президент Лубе не является помазанником, этот Христос, висящий над вашими головами, отвергает вас через посредство вселенских соборов и пап. Он здесь для того, чтобы напомнить вам о правах церкви, его присутствие не имело бы иначе никакого разумного смысла.

На это председатель суда Буриш мог бы ответить:

– Подсудимый Кренкебель, короли Франции всегда ссорились с панами. Гийом де Ногарэ был отлучен от церкви, но не сложил с себя полномочий из-за такой малости. Христос, находящийся в этом судилище, не есть Христос Григория VII или Бонифация VIII. Это, если угодно, Христос евангельский, который не знал ни единого слова из канонического права и ничего не слышал о священных декретаиях.

Тогда Кренкебелию позволительно было бы ответить:

– Христос евангельский был мятежник. К тому же кару, которой подвергли его самого, все христианские народы в продолжении девятнадцати веков считают тяжелой судебной ошибкой. Вам, господин судья, не удастся от его имени присудить меня и к двум дням тюрьмы.

Но Кренкебель не предавался никаким размышлениям исторического, политического или социального порядка. Он пребывал в изумлении. Все окружающее внушало ему высокое представление о правосудии. Проникнутый почтением, охваченный испугом, он готов был сам говорить перед судьями о собственной виновности. В Душе он не чувствовал себя преступником, но он понимал, как мало значит душа какого-нибудь зеленщика перед символами закона и вершителями общественного возмездия. К тому же адвокат уже наполовину разубедил его в его невиновности.

Краткое и скорое следствие подтвердило обвинения, тяготевшие над ним.

Приключение Кренкебиля

Жером Кренкебель, зеленщик, ходил по городу, подталкивая перед собой свою тележку, и выкрикивал: «Капуста, репа, морковь!» А когда у него был лук-порей, он кричал: «Спаржа, спаржа!», потому что порей – это спаржа бедняков. И вот 20 октября в полдень, когда он спускался по улице Монмартр, г-жа Байар вышла из своей башмачной мастерской и подошла к тележке зеленщика. С презрительной миной она взяла пучок порея:

– Не больно-то хорош у вас порей. Сколько за пучок?

– 15 су, хозяйка. Лучше не бывает.

– 15 су за три дрянных луковки?

И с гримасой отвращения она бросила пучок назад в тележку.

Тут-то полицейский № 64 появился и сказал Кренкебилю:

– Проходите.

Пятьдесят лет Кренкебель ходил с утра до вечера. Приказ показался ему законным, вполне в порядке вещей. Готовый повиноваться, он стал торопить женщину, чтобы та взяла то, что ей нравится.

– Надо же мне сначала выбрать товар, – язвительно ответила башмачница.

И она снова перещупала все пучки порея, наконец взяла тот, который показался ей лучше всех; она прижала его к груди, как святые на иконах прижимают к груди пальмовую ветвь.

– Я дам за него четырнадцать су. Этого хватит. И мне еще надо за ними сходить в лавку, у меня с собой нет.

И держа порей в объятиях, она вошла в свою мастерскую, куда как раз прошла покупательница с маленьким ребенком на руках.

В этот момент полицейский № 64 во второй раз сказал Кренкебилю:

– Проходите!

– Я дожидаюсь моих денег, – возразил Кренкебель.

– Я не приказываю вам дожидаться ваших денег; я приказываю вам проходить, – строго ответил полицейский.

В это время башмачница в своей лавке примеряла синие башмачки полуторогодовалому ребенку, мать которого очень спешила. А зеленые головки порея покоились на прилавке.

За полвека, которые Кренкебель провел на улицах со своей тележкой, он выучился подчиняться представителям власти. Но на этот раз он оказался в особом положении – между долгом и своим правом. Он не умел рассуждать юридически. Он не понимал, что если ты осуществляешь свое право, то это не освобождает тебя от выполнения общественного долга. Он считал, что получить свои четырнадцать су – вполне его право, и забыл о своем

долге, который состоял в том, чтобы толкать тележку все вперед и вперед. Он остался на месте.

В третий раз полицейский № 64 спокойно и не сердясь приказал ему проходить. В противоположность бригадиру Монтосель, который имеет привычку сыпать угрозами, но никогда не доходит до суровых мер, полицейский № 64 скуп на предупреждения и скор на составление протокола. Такой у него характер. Хоть он и мрачен немного, но отличный служака и честный солдат. У него храбрость льва и мягкость ребенка. Он знает только то, что ему приказано.

– Вы что, не слышите? Говорят вам, проходите!

Кренкебель оставался на месте по причине, на его взгляд, вполне достаточной. Он изложил ее просто и безыскусственно:

– Тьфу! Я же говорю вам, что дожидаясь своих денег. Полицейский № 64 ограничился следующим:

– Вы хотите, чтобы я вам записал нарушение правил? Если вы этого хотите, говорите сразу.

Услышав это, Кренкебель медленно пожал плечами, обратился к полицейскому горестный взгляд и затем поднял его к небу. И этот взгляд говорил:

«Видит бог, разве я нарушитель законов? Разве я могу смеяться над постановлениями и указами, которые правят мной и моей тележкой? В пять часов утра я уже был на площади Центрального рынка, с семи часов утра я стираю себе руки об оглобли моей тележки и кричу: „Капуста, репа, морковь!“ Мне стукнуло уже шестьдесят лет. Я устал. А вы меня спрашиваете, не поднимаю ли я черное знамя восстания? Вы издеваетесь, и издеваетесь жестоко».

Ускользнуло ли значение этого взгляда от полицейского, или он ни в чем не находил оправдания неповиновению, но он только спросил Кренкебеля грубо и резко – понял ли тот его.

А как раз в эту минуту давка на улице Монмартр была чрезвычайная. Пролетки, дроги, фургоны, омнибусы, ломовые подводы, притиснутые друг к другу, соединились, казалось, в нечто целое. Над этим остановившимся дрожащим потоком взлетали крики и ругательства. Извозчики издали обменивались отчаянными ругательствами с мясниками, а кондуктора омнибусов обзывали Кренкебеля, считая его причиной затора, «поганим пореем».

Тем временем на тротуаре столпились любопытные, привлеченные спором. И полицейский, видя, что на него смотрят, думал только о том, чтобы показать свою власть.

– Ну, хорошо, – сказал он. И вытащил из кармана засаленную записную книжку и огрызок карандаша.

Кренкебель держался своего, следуя внутреннему побуждению. Да теперь ему и невозможно было двинуться ни вперед, ни назад. Колесо его тележки крепко застряло в колесе тележки молочника.

Он закричал, сбивая фуражку на затылок и теребя себя за волосы:

– Так я же вам говорю, что жду денег! Экая напасть! Вот беда, черт побери!

Полицейский счел себя оскорбленным этими словами, хотя в них было больше отчаяния, нежели возмущения. И так как для него всякие оскорбительные слова обязательно укладывались в неизменную, освященную традицией, ритуальную и, можно сказать, литургическую формулу проклятия «Смерть коровам!», то именно это проклятие и

послышалось ему в словах преступника.

– А! Вы сказали: «Смерть коровам!» Хорошо же! Следуйте за мной.

Остолбеневший Кренкебиль, полный отчаяния, скрестил руки на своей синей блузе, вперил опаленные солнцем глаза в полицейского № 64 и закричал дребезжащим голосом, который выходил то ли из его макушки, то ли из пяток:

– Я сказал «Смерть коровам!», я?.. О!..

Приказчики и мальчишки встретили арест взрывом хохота. Он удовлетворял вкусу людской толпы, всегда падкой на зрелища грубые и низменные. Но какой-то старичок с печальным лицом, одетый в черное, в цилиндре, протиснулся через толпу к полицейскому и сказал ему тихо, очень вежливо и очень твердо:

– Вы ошиблись. Этот человек не оскорблял вас.

– Не вмешивайтесь не в свое дело, – ответил ему полицейский, на этот раз без угроз, так как говорил с человеком, прилично одетым.

Старик настаивал очень спокойно и очень упорно. И полицейский приказал ему дать свои показания у комиссара. Тем временем Кренкебиль восклицал:

– Это я сказал: «Смерть коровам!»? О!..

В то время как он с изумлением произносил эти слова, башмачница г-жа Байар подошла к нему со своими четырнадцатью су. Но полицейский № 64 уже держал Кренкебиля за шиворот, и г-жа Байар, решив, что никто не платит человеку, которого ведут в полицейский участок, опустила эти четырнадцать су в карман своего передника.

Вдруг, уразумев, что тележка его задержана, что сам он лишен свободы, что под ногами его пропасть, что солнце померкло, Кренкебиль пробормотал:

– Ну, однако!..

У комиссара старичок объявил, что, задержавшись в пути из-за скопления экипажей, он был свидетелем происшествия и утверждает, что полицейского не оскорбляли и что он безусловно ошибается. Он назвал свое имя и должность: доктор Давид Матье, главный врач больницы Амбруаза Паре, кавалер ордена Почетного Легиона. В другие времена такое показание вполне удовлетворило бы комиссара. Но тогда во Франции ученые считались подозрительными.

Кренкебиль, задержание которого было подтверждено, провел ночь в арестантской и утром в «салатной корзинке» был препровожден в Центральную полицейскую тюрьму.

Заключение в тюрьму не показалось ему ни мучительным, ни обидным. Он принял его как нечто должное. Что его поразило при входе – так это чистота стен и выложенного плитками пола. Он сказал:

– Чистое помещение, ей-ей чистое! На полу хоть ешь. Оставшись один, он захотел подвинуть табурет; оказалось, что он приделан к стене. Тут он громко выразил свое удивление:

– Вот ловко то! Мне бы такого ввек не придумать, это уж верно!

Усевшись, он крутил пальцами и пребывал в изумлении. Тишина и одиночество угнетали его. Он томился, он тревожился о своей тележке, которую забрали в участок со всей капустой, морковью, сельдереем и прочим салатом. И спрашивал беспокойно:

– Куда они девали мою тележку?

На третий день его посетил адвокат, мэтр Лемерль, один из самых молодых членов адвокатского сословия в Париже, председатель одного из отделений «Лиги Французского Отечества».

Кренкебель пытался рассказать свое дело, что ему было не легко, так как у него не было привычки говорить. Может быть, он бы все-таки выкарабкался, если б ему помогли. Но на все, что он говорил, адвокат с недоверием качал головой и, листая бумаги, бормотал:

– Гм! Гм! Ничего этого я не вижу в деле...

Затем сказал с утомленным видом, покручивая белокурые усы:

– В ваших интересах, пожалуй, лучше бы признаться. Сам я полагаю, что ваша система полного отрицания вины исключительно неудачна.

И с этой поры Кренкебель охотно бы стал признаваться, если б только знал, в чем надо признаться.

Кренкебель перед лицом правосудия

Председатель суда Буриш посвятил целых шесть минут допросу Кренкебелия. Этот допрос мог бы внести больше ясности в дело, если бы обвиняемый отвечал на поставленные ему вопросы. Но у Кренкебелия не было навыка к дискуссиям, а в таком обществе почтение и страх вовсе уж замыкали ему рот. Он все молчал, а председатель сам давал за него ответы; ответы эти были убийственны. В заключение председатель спросил:

– Так вы признаете, что сказали «Смерть коровам!»?

– Я сказал: «Смерть коровам!», потому, что господин полицейский сказал: «Смерть коровам!» Тогда и я сказал: «Смерть коровам!»

Он хотел объяснить, что, удивленный и пораженный таким незаслуженным обвинением, он повторил чужие слова, которые были ему несправедливо приписаны и которых он вовсе не произносил. Он сказал: «Смерть коровам!», как если бы сказал: «Я? Разве я ругался? С чего вы взяли?»

Г-н председатель суда Буриш понял его не так.

– Вы хотите сказать, что полицейский первый крикнул это?

Кренкебель отказался объясниться подробнее. Это было слишком трудно.

– Вы не настаиваете, это разумно, – сказал судья. И он вызвал свидетелей.

Полицейский № 64, по имени Бастьен Матра, присягнул, что будет говорить правду, одну только правду. Затем он изложил свое показание в следующих словах:

– Будучи на дежурстве 20 октября, в полдень я заметил на улице Монмартр человека, по виду торговца-зеленщика, который, нарушая правила, остановился у дома номер 328, отчего произошло скопление экипажей. Я три раза приказывал ему проходить, но он отказывался повиноваться, и когда вследствие этого я предупредил его, что составлю протокол, он в ответ мне крикнул: «Смерть коровам!», что мне показалось оскорбительным.

Это показание, сделанное голосом твердым и размеренным, было выслушано судом с явным одобрением. Защита вызвала г-жу Байар, башмачницу, и г-на Давида Матье, старшего врача больницы Амбруаза Паре, кавалера ордена Почетного Легиона. Г-жа Байар ничего не видела и не слышала. Доктор Матье находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, который требовал, чтобы торговец проезжал дальше. Его выступление вызвало инцидент.

– Я был свидетелем этого происшествия, – сказал он. – Я заметил, что полицейский ошибся: его не оскорбляли. Я подошел к нему и сказал ему об этом. Полицейский все же не отпустил торговца, а меня пригласил следовать с собой к комиссару. Я так и сделал. У комиссара я повторил мое заявление.

– Вы можете сесть, – сказал председатель. – Пристав, вызовите опять свидетеля Матра. – Матра, когда вы арестовывали обвиняемого, господин доктор Матье не заметил ли вам, что вы ошибаетесь?

– Иными словами, господин председатель, он меня оскорбил.

– Что он вам сказал?

– Он мне сказал: «Смерть коровам!» Шум и смех поднялись среди слушателей.

– Вы можете идти, – торопливо сказал председатель суда.

И он предупредил публику, что, если эти неприличные выходки повторятся, он принужден будет очистить зал. Тем временем защитник с победоносным видом оправлял рукава своего облачения, и все думали в эту минуту, что Кренкебель будет оправдан.

Когда тишина была восстановлена, поднялся мэтр Лемерль.

Он начал свою защитительную речь с похвалы полицейским префектуры, «этим скромным служащим общества, которые, получая смехотворно малое содержание, мужественно идут навстречу тяготам и постоянным опасностям и каждодневно проявляют героизм. Это старые солдаты, и они всегда остаются солдатами. Солдаты – этим сказано все...»

И мэтр Лемерль легко взлетел к очень высоким соображениям о воинских доблестях. Он был одним из тех, сказал он, «кто не позволит затронуть армию, национальную армию, к которой он сам имеет честь принадлежать».

Председатель суда склонил голову.

Мэтр Лемерль действительно был лейтенантом запаса. Он, кроме того, был кандидатом националистов в квартале Вьей Одриет.

Он продолжал:

– Нет, конечно, я не могу не признавать тех скромных и драгоценных услуг, которые ежедневно оказывают стражи порядка честным жителям Парижа. И я не согласился бы выступать перед вами с защитой Кренкебеля, если бы видел в нём оскорбление старого солдата. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал «Смерть коровам!» Смысл этой фразы не внушает сомнений. Перелистав «Словарь уличного жаргона», вы прочтете там: «Vachard – похожий на корову – лентяй, бездельник, который лениво разлегся, как корова, вместо того чтобы работать. Vache – корова, тот, кто продается полиции, шпик». «Смерть коровам!» – говорят в определенной среде. Но весь вопрос вот в чем: как сказал это Кренкебель? Да и говорил ли? Позвольте, господа, усомниться в этом.

Я не подозреваю полицейского Матра ни в каких дурных намерениях. Но он выполняет, как мы говорили, трудные обязанности; Порой он устает, он измучен, переутомлен. В таком

состоянии он мог оказаться жертвой своего рода слуховой галлюцинации. И когда он заявляет, господа, что доктор Давид Матье, кавалер ордена Почетного Легиона, главный врач больницы Амбруаза Паре, светило науки и светский человек, кричал: «Смерть коровам!», нам приходится признать, что Матра был во власти навязчивой идеи, даже, если позволите, одержим манией преследования.

И наконец, даже если Кренкебель и кричал: «Смерть коровам!», то надо еще разобраться, могут ли эти слова в его устах иметь характер преступления. Кренкебель – незаконный сын торговки-зеленщицы, предававшейся разврату и пьянству; он родился алкоголиком. Вы видите его здесь отупевшим от шестидесяти лет нищеты. Господа, вы скажете, что он невменяем.

Мэтр Лемерль сел, и г-н председатель суда Буриш пробормотал приговор, которым Жером Кренкебель присуждался к двум неделям тюрьмы и к пятидесяти франкам штрафа. Свое решение суд основывал на свидетельстве полицейского Матра.

Когда Кренкебиля вели по длинным мрачным переходам здания суда, он почувствовал огромную потребность в чьем-нибудь сочувствии. Он обернулся к стражнику, который вел его, и трижды окликнул:

– Служба! Служба! Эй ты, служба!

И вздохнул:

– Если бы мне две недели тому назад сказали, что со мной это случится...

А потом высказал такое соображение:

– Они говорят слишком быстро, эти господа. Они говорят хорошо, но они говорят слишком быстро. Им не объяснишь... Приятель, вы не находите, что они говорят слишком быстро?

Но солдат шел, не отвечая и даже не поворачивая головы.

Кренкебель спросил его:

– Почему же вы мне не отвечаете?

А солдат все молчал. И Кренкебель сказал ему с горечью:

– С собакой и то говорят. Почему вы не говорите со мной? Вы даже рта не раскрываете: может быть, вы боитесь, что из него воняет?

Апология г-на председателя суда Буриша

После оглашения приговора несколько зрителей и два-три адвоката пошли к выходу, а секретарь уже начал читать следующее дело. Уходившие несколько не размышляли о деле Кренкебиля, которое их вовсе не заинтересовало и о котором они больше не думали. Только г-н Жан Лермит, гравер-офортист, случайно зашедший в зал суда, еще думал о том, что ему сейчас пришлось увидеть и услышать.

Положив руку на плечо мэтра Жозефа Обарэ, он сказал ему:

– Председатель суда Буриш, конечно, достоин похвалы, ибо он сумел уберечься от суетного любопытства, к которому склонен наш разум, и избежать духовной гордыни, которая хочет

постичь все. Сопоставляя противоречивые показания полицейского Матра и доктора Давида Матье, судья встал бы на путь, на котором нельзя встретить ничего, кроме неопределенности и сомнения. Метод, который состоит в том, что факты изучают соответственно правилам критики, несовместим с настоящим правосудием. Если бы судья имел неосторожность следовать подобному методу, его суждения зависели бы от его личной сообразительности, которая часто весьма невелика, и от общечеловеческих слабостей, постоянных для всех. Что случилось бы тогда с его авторитетом? Нельзя отрицать, что исторический метод не в силах предоставить судье те надежные данные, в которых он нуждается. Стоит только припомнить случай с Уолтером Ралей.

Однажды, когда Уолтер Ралей, заключенный в Тауэр в Лондоне, по обыкновению работал над второй частью своей «Всемирной истории», внезапно под его окном разразилась громкая ссора. Он пошел посмотреть на повздоривших людей, а когда снова взялся за работу, то был уверен, что все хорошо заметил. Но наутро он стал говорить об этом деле с одним из своих друзей, который присутствовал тогда и даже принимал участие в ссоре, и оказалось, что его друг расходится с ним во всех подробностях. И, пораздумав, как трудно установить истинный ход отдаленных событий, если он мог ошибиться в том, что происходило на его глазах, он бросил в огонь рукопись своей книги.

Если бы судьи были столь же щепетильны, как сэр Уолтер Ралей, они побросали бы в огонь протоколы всех своих следствий. А они не имеют права на это. С их стороны это было бы уклонением от правосудия, преступлением. Надо отказаться от познания истины, но не надо отказываться судить. Те, кто хочет, чтобы судебные приговоры основывались на методическом расследовании фактов, – опасные софисты и коварные враги суда как гражданского, так и военного. Председатель суда Буриш мыслит как юрист и поэтому не захочет поставить свои решения в зависимость от разума и научного исследования, выводы которого всегда являются предметами споров. Он основывает свои решения на догме и подкрепляет их традицией, так что они столь же авторитетны, как заповеди церкви. Его приговоры каноничны. Я хочу сказать, что он как бы заимствует их из некоего нерушимого устава. Посмотрите, например, как он разбирает свидетельские показания: он руководствуется при этом не обманчивыми и неверными признаками истинности и вероятности, но признаками существенными, постоянными и очевидными. Он оценивает их на вес оружия. Что может быть проще и мудрее в то же время? Он полагает неопровержимым свидетельство стража порядка, отвлекаясь от его человеческой природы и метафизически понимая его как номер по списку и как категорию идеальной полиции. Не потому, что Матра (Бастьен), уроженец Чинто-Монте (Корсика), кажется ему неспособным заблуждаться. Он вовсе не думает, что Бастьен Матра одарен особой наблюдательностью или что он при проверке фактов пользуется точным и последовательным методом. По правде говоря, он считается не с Бастьеном Матра, но с полицейским № 64. Человек, – думает он, – может впасть в ошибку. Петр и Павел могут ошибаться. Декарт и Гассенди, Лейбниц и Ньютон, Биша и Клод Бернар могут ошибаться. Мы все ошибаемся и все время ошибаемся. Причины наших заблуждений неисчислимы. Восприятия чувств и суждения ума суть источники иллюзий и порождают неуверенность. Не надо полагаться на свидетельство одного человека: *Testis unus, testis nullus*. Но можно довериться номеру. Бастьен Матра из Чинто-Монте может впасть в ошибку. Но полицейский № 64, абстрагированный от его человеческой природы, не ошибается. Это – сущность. Сущность не имеет в себе ничего, что есть в людях, что их обманывает, путает, заставляет ошибаться. Она чиста, неизменна и беспримесна. Поэтому Суд не задумался отвести показания доктора Давида Матье, который всего только человек, и принял во внимание показания полицейского Матра, ибо он есть чистая идея и, как луч, ниспослан богом на скамью свидетелей.

Поступая таким образом, председатель Буриш обеспечивает себе некую непогрешимость, единственную, на какую может притязать судья. Когда человек, дающий показания, вооружен саблей, надо слушать саблю, а не человека. Человек достоин презрения и может быть

неправ. Саблю нельзя презирать, и она всегда права. Председатель Буриш глубоко проник в дух законов. Общество покоится на силе, и силу должно уважать как могущественную основу общества. Правосудие управляет при помощи силы. Председатель Буриш знает, что полицейский № 64 есть частица Верховной Власти. Верховная Власть воплощается в каждом из своих слуг. Подрывать авторитет полицейского № 64 – это значит ослаблять Государство. Когда едят листок артишока, едят артишок, как выражается Боссюэ на своем возвышенном языке. (Политика, извлеченная из Священного Писания, *passim*.)

Все шпаги любого Государства служат одному делу. Противопоставляя их друг другу, ниспровергают Республику. Вот почему подсудимый Кренкебиль был справедливо приговорен к двум неделям тюрьмы и к пятидесяти франкам штрафа на основании свидетельства полицейского № 64. Мне кажется, что я слышу, как председатель Буриш сам излагает возвышенные и прекрасные побуждения, вдохновившие его приговор. Я слышу, как он говорит:

«Я судил этого человека, сообразуясь с показаниями полицейского № 64, потому что полицейский № 64 есть эманация силы общества. И чтобы признать мою мудрость, вам достаточно представить себе, будто я сделал обратное. Вы сразу же увидите, что это было бы бессмысленно. Ибо, если бы я судил против силы, мои приговоры не исполнялись бы. Заметьте, господа, что судьям подчиняются только тогда, когда сила на их стороне. Без жандармов судья просто жалкий мечтатель. Я повредил бы себе, если бы обвинил жандарма. К тому же дух законов противится ему. Разоружать сильных и вооружать слабых значило бы изменять общественный строй, а моя миссия – охранять его. Правосудие есть освящение установившихся несправедливостей. Видели ли вы когда-нибудь, что оно боролось с завоевателями и спорило с захватчиками? Когда утверждается какая-либо незаконная власть, правосудию стоит только признать ее, чтобы сделать ее законной. Все дело в форме: преступление отделяется от невиновности одним тонким листом гербовой бумаги. Вам, Кренкебиль, надо самому стать сильнее всех. Если бы, после того, как вы крикнули: „Смерть коровам!“, вы заставили провозгласить себя императором, диктатором, президентом Республики или хотя бы муниципальным советником, поверьте мне, я не присуждал бы вас к двум неделям тюрьмы и к пятидесяти франкам штрафа. Я освободил бы вас от всякого наказания. Вы можете в этом не сомневаться».

Так, наверное, говорил бы председатель Буриш, потому что он мыслит как юрист и знает, в чем обязанности судьи перед обществом. Этим он последовательно и старательно защищает принципы. Правосудие подчиняется обществу. Только неблагонамеренные хотят от правосудия человечности и мягкосердечия. Его осуществляют, следуя твердым правилам, а не порывам сердца или озарениям ума. Не требуйте от правосудия справедливости, ему она не нужна, потому что оно есть правосудие, и я даже скажу вам, что мысль о справедливом правосудии могла зародиться только в голове анархиста. Правда, судья Маньо выносит справедливые приговоры. Но их кассируют, и в этом – правосудие.

Настоящий судья оценивает показания на вес оружия. Это явствует из дела Кренкебиля и из многих других, более знаменитых случаев.

Так говорил г-н Жан Лермит, прогуливаясь из конца в конец по длинной зале для публики.

Мэтр Жозеф Обарэ, хорошо знакомый с судебными порядками, ответил ему, почесывая кончик носа:

– Если вы хотите знать мое мнение, то я не думаю, чтобы председатель Буриш поднимался до таких метафизических высот. По-моему, приняв показание полицейского № 64 за выражение истины, он сделал просто то, что всегда делалось па его глазах. В подражании надо искать причину большинства человеческих поступков. Поступая по обычаю, всегда сойдешь за порядочного человека. Благонамеренными людьми называют тех, кто поступает

так, как и другие.

О том, как Кренкебиль подчинился законам республики

Снова отведенный в тюрьму, Кренкебиль сел на свой прикованный табурет; он был потрясен и изумлен. Он сам не знал наверное, ошиблись ли судьи. Тайные слабости суда были скрыты от него величественной формой. Он не смел думать, что был прав перед судьями, доводов которых он тоже не понимал: он не мог предполагать, что в такой прекрасной церемонии крылось что-нибудь неладное. Не посещая ни церковных мест, ни Елисейского дворца, он никогда в жизни своей не видывал ничего столь красивого, как процедура суда в исправительной полиции. Он хорошо знал, что не кричал: «Смерть коровам!» И так как его приговорили к двум неделям тюрьмы за то, что он кричал эти слова, – то наказание представилось ему недоступной тайной, как бы символом веры, которому люди религиозные следуют, не понимая, – откровением загадочным, потрясающим, восхитительным и ужасным.

Этот бедный старый человек признавал себя виновным в том, что таинственным образом оскорбил полицейского № 64, как маленький мальчик, изучая катехизис, признает себя виновным в грехе, совершенным Евой. Приговор доказывал ему, что он кричал: «Смерть коровам!» Значит, он крикнул: «Смерть коровам!» неведомо для самого себя, каким-то непостижимым образом. Он перенесся в мир сверхъестественного. Это был для него Страшный суд.

Как он не мог точно представить своей вины, так не мог он понять и своего наказания. Его осуждение казалось ему высоким, торжественным обрядом, это было нечто ослепительное, чего не понимают, о чем не спорят, чем нельзя хвалиться, на что нельзя жаловаться. Если бы в тот миг он увидел, что председатель суда Буриш, с ореолом вокруг головы, с белыми крыльями спускается через разверзшийся потолок, он нисколько не удивился бы этому новому проявлению величия правосудия.. Он сказал бы себе: «Вот как идет мое дело!»

На следующий день к нему пришел адвокат:

– Ну, дядя, вам тут не очень плохо? Не падайте духом! Две недели пройдут быстро. Вам жаловаться еще не на что.

– Ну, что ж, надо сказать, эти господа очень любезны, очень вежливы; ни одного грубого слова. Вот уж не думал! А солдатик-то надел белые перчатки. Вы видели?

– Если разобраться, то хорошо, что вы признались.

– Пожалуй.

– Кренкебиль, у меня для вас хорошая новость. Один благотворитель, которого я заинтересовал вашей участью, вручил мне для вас пятьдесят франков; они предназначены для уплаты штрафа, к которому вы приговорены.

– А когда вы мне принесете эти пятьдесят франков?

– Они будут переданы в суд. Об этом не беспокойтесь.

– Ну, все равно. Во всяком случае я очень благодарен этому господину.

И Кренкебиль пробормотал задумчиво:

- Вот какое необычайное дело со мной случилось!
- Не преувеличивайте, Кренкебиль. Такие случаи нередки, совсем нередки.
- Не можете ли вы мне сказать, куда они девали мою тележку?

Кренкебиль перед лицом общественного мнения

Выйдя из тюрьмы, Кренкебиль толкал свою тележку по улице Монмартр, крича: «Капуста, репа, морковь!» Он не гордился своим приключением и не стыдился его. В нем не осталось тягостных воспоминаний. Казалось, это было что-то вроде театрального представления, или путешествия, или сна. Он был так рад шагать по грязной мостовой города и видеть над головой дождливое и мутное, как грязная лужа, небо, милое небо своего родного города. Он останавливался на всех углах, чтобы выпить стаканчик, потом, чувствуя себя легко и весело, плевал для смазки на мозолистые ладони, хватался за оглобли и толкал тележку дальше, а воробы, как он, вставшие рано, и такие же бедняки, как он, искали себе пропитания на мостовой перед ним и вспархивали стайкой, услышав знакомый крик: «Капуста, репа, морковь!» Подошедшая старушка-хозяйка сказала ему, перебирая сельдерей:

– Что с вами было, папаша Кренкебиль? Вот уже три недели, как вас не видать. Вы были больны? Вы даже побледнели.

– Вот я вам расскажу, госпожа Майош, жилось-то мне отлично...

Ничего не изменилось в его жизни, разве что он стал чаще, чем обычно, заглядывать в кабачок, так как ему казалось, будто пришел праздник и он обзавелся покровителями. В свою каморку он стал возвращаться немного навеселе. Растянувшись на кровати, он натягивал на себя мешки, которые ему одалживал торговец каштанами с ближнего угла, – они ему служили одеялом, – и думал: «На тюрьму нечего жаловаться, там есть все, что тебе нужно. Но дома все-таки лучше».

Его довольство длилось недолго. Он вскоре заметил, что покупательницы посматривают на него косо.

– Вот хороший сельдерей, госпожа Куэнтро!

– Мне ничего не нужно.

– Как это вам ничего не нужно? Не живете же вы одним воздухом?

А г-жа Куэнтро, не отвечая ни слова, гордо удалялась в принадлежавшую ей большую булочную. Лавочницы и привратницы, недавно толпившиеся вокруг его веселой зеленой тележки, теперь отворачивались от него. Дойдя до башмачной мастерской у Ангела-хранителя, места, где начались все его судебные злоключения, он окликнул:

– Госпожа Байар, госпожа Байар, вы мне должны четырнадцать су с того раза.

Но г-жа Байар, восседавшая за конторкой, не удостоила его даже поворотом головы.

Вся улица Монмартр знала, что папаша Кренкебиль вышел из тюрьмы, и вся улица Монмартр не хотела больше его знать. Слух о суде над ним дошел до предместья и до шумного перекрестка улицы Рише. Там, около полудня, он увидел, как г-жа Лора, хорошая, верная его покупательница, наклонилась над тележкой молодого парня – Мартена. Она ощупывала

большой кочан капусты. Как золотые нити, блестели на солнце ее волосы, завязанные пышным узлом. А этот мальчишка Мартен, дрянь, сопляк, клялся ей, положив руку на сердце, что лучше товара, чем у него, – не найти. От этого зрелища сердце Кренкебиля чуть не разорвалось. Он наехал своей тележкой на тележку мальчишки Мартена и сказал г-же Лоре жалобным, надтреснутым голосом:

– Нехорошо изменять мне.

Г-жа Лора, как она и сама считала, не была герцогиней. Не в светском обществе сложились ее понятия о «салатной корзинке» и об арестном доме. Но ведь можно быть честной в любом положении, не правда ли? Каждый бережет свое достоинство, и с человеком, вышедшим из тюрьмы, не любят иметь дело. И вместо ответа она только сморщилась, будто ее вот-вот вырвет. И старый разносчик, почувствовав жестокую обиду, заорал:

– Ах ты, потаскуха!

Тут г-жа Лора уронила свой кочан капусты и закричала:

– Вот как! Старая кляча! Вышел из тюрьмы и еще людей оскорбляет!

Сохрани Кренкебель хладнокровие, он никогда бы не попрекнул г-жу Лору ее профессией. Он слишком хорошо знал, что в жизни делаешь не то, что хочешь, что ремесло выбирать не приходится и что повсюду можно встретить порядочных людей.

У него был благоразумный обычай не соваться в домашние дела своих покупательниц и никого не презирать. Но он был вне себя; он трижды обозвал г-жу Лору потаскухой, шлюхой и падалью. Кружок любопытных собрался вокруг г-жи Лоры и Кренкебиля, которые обменялись еще несколькими ругательствами, столь же изысканными, как и первые, и они выложили бы весь свой запас, если бы внезапно появившийся полицейский, застывший и молчаливый, не заставил бы их тоже застыть и онеметь. Они разошлись в разные стороны. Но эта сцена окончательно погубила Кренкебиля во мнении предместья Монмартр и улицы Рише.

Последствия

Старик шел, бормоча:

– Право, она шлюха. Другой такой шлюхи не найти.

Но в глубине сердца Кренкебель знал, что не за это он упрекал ее. Он не презирал ее за то, чем она была. Он даже уважал ее, зная, как она бережлива и какой у нее во всем порядок. В былые времена они частенько болтали вдвоем. Она рассказывала ему о своих родных, которые жили в деревне. И они оба строили планы, как они будут копать в садике и разводить кур. Она была хорошая покупательница. Когда он увидел, что она выбирает капусту у этого мальчишки Мартена, паршивца, молокососа, ему показалось, что его ударили под ложечку; а когда она скорчила презрительную рожу, он разозлился, ну и вот...

Хуже всего было то, что не она одна смотрела на него, как на запаршивевшую собаку. Никто больше не хотел его знать. Не только г-жа Лора, но и г-жа Куэнтро-булочница, г-жа Байар от Ангела-хранителя и остальные презирали его, не желали иметь с ним дела. Все общество, не угодно ли?

Значит, из-за того, что человека засадили на две недели, он не годится теперь даже пореем торговать? Разве это справедливо? Есть ли здравый смысл – заставлять честного человека

умирать с голоду оттого, что у него были неприятности со шпиками? Если он не может больше продавать овощи, ему остается только сдохнуть.

Он скис, как плохое вино. После того как он «поговорил» с г-жой Лорой, он бранился уже со всеми. Ни с того, ни с сего он сообщал покупательницам все, что о них думал, и, смею вас уверить, не стеснялся в выражениях. Если они чуть-чуть дольше перебирали товар, он уже обзывал их пустобрехами без гроша в кармане; в кабачке он тоже грубо ругался с собутыльниками. Его друг, торговец каштанами, заявлял, что он его не узнает и что папаша Кренкебель – просто дикообраз. Спору не было: он стал неприличен, неуживчив, зол на язык, криклив. Дело в том, что, находя общество несовершеннолетним, он не мог с такой же легкостью, как какой-нибудь профессор Высшей школы моральных и политических наук, высказать свои идеи о пороках всей системы и о необходимых реформах, да и мысли в его голове сменялись без всякого порядка и последовательности.

Несчастье сделало его несправедливым. Он вымещал свою обиду на тех, кто не желал ему зла, а иногда и на тех, кто был слабее его. Однажды он дал затрещину Альфонсу, сынишке винооторговца, потому что тот спросил, хорошо ли в тюрьме. Он дал ему затрещину и сказал:

– Паршивец! Это твоему отцу надо бы сидеть за решеткой вместо того, чтобы наживаться на продаже отравы.

И слова и поступок не делали ему чести, потому что, как правильно указал ему торговец каштанами, нельзя бить ребенка и попрекать его отцом, которого ведь не выбираешь.

Он стал пить. Чем меньше он выручал, тем больше выпивал водки. Когда-то бережливый и трезвый, он сам дивился этой перемене в себе.

– Никогда не был я транжиром, – говорил он. – Видно, с годами теряешь разум.

Иногда он строго осуждал себя за беспутство и лень:

– Старина Кренкебель, ты теперь только для выпивки и годишься.

Иногда, обманывая сам себя, он доказывал, что ему надо пить:

– Время от времени нужно мне выпить стаканчик, чтобы подкрепиться и освежиться. Право же, у меня нутро горит. Только выпивка и освежает.

Часто случалось с ним, что он пропускал утренние торги и доставал только попорченный товар, который ему отпускали в кредит. Однажды, чувствуя, что ноги под ним подгибаются, а сердце еле бьется, он оставил тележку в сарае и весь день провел, слоняясь между лавкой г-жи Розы, торговли требухой, и кабаками Центрального рынка. Вечером он сидел на какой-то корзине и думал, и тут ему самому стало ясно его падение. Он вспомнил свою силу в молодости, тогдашнюю работу без отдыха, удачные выручки, бесчисленные дни, одинаково наполненные делом, те сто шагов, которые он отмеривал по плитам рынка ночами, поджидая открытия торгов; большие охапки овощей, которые он перетаскивал в свою тележку и потом искусно раскладывал, чашку горячего черного кофе у тетки Теодоры, проглоченного на ходу, оглобли тележки, за которые в те времена так крепко хватались его руки; свой крик, раздиравший утренний воздух, крик здоровый и пронзительный, как пенье петуха, свой путь по людным улицам, всю свою жизнь, честную и грубую, жизнь человека-лошади, который в течение полувека на своей тележке развозил горожанам, истерзанным бессонными ночами и заботами, свежий урожай огородов. И, покачав головой, вздохнул:

– Нет! Во мне уже нет прежней силы. Я человек конченный. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Да после моего дела с судом у меня и характер не тот. Нет, не тот я человек!

Наконец он совсем опустился. Он был в таком состоянии, как человек, который упал на землю и не может подняться. Все прохожие топчут его.

Окончательные последствия

Пришла нужда, черная нужда. Старый зеленщик, который когда-то приносил из предместья Монмартр кошелек, набитый монетами по сто су, теперь не имел ни гроша. Была зима. Выгнанный из своей каморки, он ночевал в сарае под телегами. Больше трех недель шли дожди, вода переполняла все стоки, и сарай затопило.

Скорчившись в своей тележке, над зловонными лужами, в обществе пауков, крыс и голодных кошек, он размышлял в темноте. Он ничего не ел целые сутки, у него теперь не было мешков, которые ему давал торговец каштанами, чтобы укрыться; и ему вспомнились те две недели, в течение которых государство давало ему кров и пищу. Он позавидовал судьбе узников, которые не страдают ни от холода, ни от голода, и ему в голову пришла одна мысль:

«Раз я знаю этот фокус, почему бы мне его не испробовать?»

Он встал и вышел на улицу. Было немногим позже одиннадцати. Промозглая ночь была черным-черна. Холодная изморось пронизывала хуже дождя. Редкие прохожие жались к стенкам.

Кренкебель прошел мимо церкви св. Евстафия и повернул на улицу Монмартр. Она была пустынна. Полицейский у стены церкви врос в тротуар под газовым рожком, и видно было, как рыжел вокруг пламени кружок моросившего дождя. Дождь падал на капюшон полицейского, он, казалось, оцепенел от холода, но потому ли, что предпочитал свет тьме, или потому, что устал ходить, он все стоял под фонарем, может быть, считая его своим товарищем, другом. Это трепетное пламя было его единственным собеседником в ночном одиночестве. Его неподвижность заставляла сомневаться – человек ли это: отражение его сапог в мокром тротуаре, похожем на озеро, удлиняло его книзу и придавало ему издали вид земноводного чудовища, наполовину вылезшего из воды. Вблизи капюшон и оружие делали его похожим на монаха и на воина. Крупные черты его лица казались еще крупнее в тени капюшона и были спокойны и печальны. У него были густые усы, короткие и седые. То был старый полицейский, человек лет сорока.

Кренкебель тихо подошел к нему и слабым и нерешительным голосом сказал:

– Смерть коровам!

Затем он стал ждать действия этих магических слов. Но они не произвели никакого действия. Скрестив руки на груди, полицейский оставался так же неподвижен и нем. Его глаза были широко открыты и блестели в темноте; они смотрели на Кренкебеля грустно, внимательно и презрительно.

Кренкебель, удивленный, но сохранивший еще остатки решимости, пробормотал:

– Смерть коровам! Вот что я вам сказал!

Наступило долгое молчание, только моросил рыжеватый дождь, и все так же царила ледяная тьма. Наконец полицейский произнес:

– Не надо этого говорить... Право, этого вовсе не надо говорить. В вашем возрасте следовало бы соображать получше... Идите своей дорогой.

– Почему же вы меня не арестуете? – спросил Кренкебель.

Полицейский покачал головой под своим мокрым капюшоном:

– Если хватать всех пьянчуг, которые говорят что не следует, – то-то будет работы! Да и какая была бы от этого польза?

Кренкебель, подавленный этим великодушным презрением, в тупом молчании долго стоял перед ним в воде. Собравшись идти, он попытался объяснить:

– Это я не вам сказал: «Смерть коровам!» Да и никому не хотел я этого говорить. У меня была одна мысль.

Полицейский ответил мягко, но твердо:

– Из-за какой-нибудь мысли или еще из-за чего другого, но этого не надо говорить, потому что когда человек выполняет свой долг и терпит всякие лишения, не надо его оскорблять пустыми словами... Я вам повторяю: идите своей дорогой.

Устало опустив руки и свесив голову, Кренкебель погрузился в дождь и тьму.